



Е. А. ДОБРЕНКО

Горький и другие

(рец. на кн.: *Басинский П. Горький. М., 2005*)*

«Горький — личность безмерная, неохватная. Речь идет о немыслимой, почти фантастической широте его познаний, круга общения, переписки с современниками и, наконец, влияния на окружающий мир, с которым он с юности решил “не соглашаться”» (с. 440). Так завершает свою книгу о Горьком Павел Басинский. Скажу сразу: биография Горького — жанр почти невозможный. Не потому, что событий этой жизни хватило бы на десятки людей. Не потому, что разнообразие и глубина тем и сюжетов, так или иначе затронутых в художественном творчестве и публицистике Горького, таковы, что их хватило бы на десятки писателей и мыслителей. Не потому, что равного ему по влиянию на русскую литературу первой половины XX в. просто нет. Но потому, что эта личность оказалась на переломе эпох, в абсолютно уникальной ситуации. Биография Горького для меня — это прежде всего Горький и Другие (как любил Горький называть свои произведения — «Егор Бульчов и другие», «Достигаев и другие», «Сомов и другие»). Эти «другие» — не фон, не свита, не «окружение». В активном и непрестанном общении и споре с ними — весь Горький.

Горький — это мост между социализмом и ницшеанством, классикой и новой русской литературой, Россией и Западом, эмиграцией и СССР, большевистской властью и интеллигенцией, Сталиным и новой культурной элитой и т.д. У Горького выстраивались уникальные отношения с очень разными писателями и мыслителями (Ницше, Достоевским, Толстым, Чеховым, Андреевым, символистами, реалистами, новыми советскими писателями, Лениным, Сталиным, Роменом Ролланом и многими другими), с очень разными понятиями, такими как Бог, Свобода, Человек, Правда, Социализм. Он имел очень необычное

* Впервые: НЛЮ. 2006. № 80.

для русской литературы отношение к русскому народу, евреям, насилию, жалости. Словом, Горький — звезда невероятной яркости, интенсивности и влияния, среди русских писателей — «замечательных людей» — самый сложный персонаж для биографии.

После распада советской системы Горький оказался, как сказали бы сейчас, в «амбивалентной» ситуации: с одной стороны, ницшеанец, «буревестник Революций», «ненавистник России и русского крестьянства», «друг Ленина» и «соратник Сталина» (каким он был представлен в советских учебниках), «основоположник» ненавистного соцреализма и т.д.; с другой стороны, «гуманист», автор «Несвоевременных мыслей», борец за свободу и защитник интеллигенции от произвола большевиков, выступавший в поддержку всего талантливого и передового, что было в русской культуре на протяжении первой трети XX в.

Эпоха пересмотра советских ценностей нейтралитета не предполагала, а тут и ругать нельзя, и не ругать нельзя. Между тем вал горьковедения, этой супердисциплины в советском литературоведении, сравнимой по своей величине, идеологической нагруженности и мифогенному потенциалу разве что с пушкинистикой, как будто замер: «всего» несколько десятков книг, тогда как за предшествовавшие полвека были произведены тысячи. Настала эпоха публицистики: «очернители»/«обелители» то заливали «светлый образ Буревестника» черной краской, то отмывали его розовой водой. За фигурой «великого пролетарского писателя» закрепился наконец эпитет «трагический»: «трагедия Буревестника», «трагедия социального идеализма», «трагическое заблуждение (ослепление/ошибка/непонимание) гуманиста»...

Затем пришли «исследователи» (кавычки здесь не столько ироничные, сколько, так сказать, определяющие статус), которые большей частью утопали в деталях и периферийных «фактах», писали на нечитабельном «историко-литературном» воляпюке и были не в состоянии разглядеть за деревьями леса, т.е. попросту концептуализировать материал, а «материал» (биография и творчество Горького) таков, что лезет, как тесто из кадки. Внимательно следя за горьковедением последних двадцати лет, я все ждал, кто же наберется упорства и сил, у кого хватит амбиций, энергии, способности чувствовать культурные, личностные и политические нюансы и знаний — не литературы даже, но именно литератур — XIX века, Серебряного века и советской эпохи, философии, истории, политики — и внести эту кадку с холода в дом, чтобы тесто вновь ожило. Еще в начале 1990-х гг., с того времени, как начали появляться статьи Павла Басинского о Горьком, я сказал себе: «Вот, кто смог бы» (смущали только занятия автора критической

текучкой). Но точно — смог! Пришел наконец писатель-биограф: владеющий пером, обладающий концепцией и знанием.

В книге Басинского предпринята попытка не только выстроить биографию Горького, но и обосновать ее концептуально, проблематизировать те аспекты горьковского творчества, которые ранее либо не замечались, либо замалчивались, отчистить ее от мифологии, которая складывалась вокруг Горького как при жизни, так и после его смерти. Неудивительно поэтому, что речь в книге идет не только о жизни Горького, но и о ключевых проблемах его «духовной биографии» — о Боге и гуманизме, о церкви и вере, о правде и жалости... В книге множество верных и глубоких наблюдений, по-новому увиденных фактов, по-новому понятых связей. Она глубоко и смело открывает Горького. И все же я решил сконцентрировать свое внимание на том, что показалось мне спорным, а иногда и просто неверным, что представляет собой попытку не столько очистить Горького от советской мифологии, сколько погрузить его в новую (или точнее — в старую).

Начнем с заявленной концепции книги («невероятная» эта версия происхождения Горького была высказана Басинским лет пятнадцать назад). Сводится она к тому, что у человека этого не было души, т.е., буквально, что был он «не совсем человек», но посланец из иного мира (с. 440). В книге эта фантастическая гипотеза развита и приобретает статус общей концепции всей «духовной биографии» писателя «без души». Вспоминать о ней приходится всякий раз, когда концепция эта противоречит ходу повествования. Не только Горький подозрительно много для человека без души плачет (ревет навзрыд по всякому поводу), но и сам автор как будто забывает о своей невероятной концепции и сообщает нам, что мало кто мог рассмотреть «облик настоящего Горького, человека достаточно душевно ранимого, а главное очень доброго, щедрого и отзывчивого на чужие беды и лишения» (с. 159). Иногда, впрочем, Басинский вспоминает о «концепции», и тогда идут умозрительные тяжеловесные объяснения о душе. Вообще, это свойство книги: когда Басинский говорит о Горьком, слышишь голос человека, понявшего в этой сложной личности главное. Но вдруг автору кажется этого мало, и тогда начинается унылая риторика на тему, что морально, что — нет, что духовно, что православно и т.д. Вот автор блистательно проанализировал драму раздвоения личности Пешкова/Горького в свете ницшеанского сверхчеловеческого идеала. Казалось бы, эту нить духовной биографии и нужно вести, но она вдруг обрывается какими-то досадными «умствованиями».

Вот Басинский восторгается «невероятной плотностью культурного пространства в гигантской, бездорожной стране. Словно между сто-

лицами и провинцией не было никакого расстояния» (с. 136). Такой ему представляется дореволюционная Россия. Мысль эта в устах автора «Исповеди провинциала» показалась мне занятной. Так вот, о провинции нам сообщается, что Казань, где Алексей Пешков чуть не лишил себя жизни, — «один из старейших и красивейших городов европейско-азиатской России, один из научных и культурных ее центров, с богатейшей торговлей, промышленностью, с интереснейшими традициями — духовными, купеческими, студенческими, русскими, татарскими» (с. 66). Там были бани и парикмахерские, а также шахматный клуб и много ресторанов.

Так что непонятно, почему Алексей Пешков пытался себя убить. Вообще непонятно, почему так невыносимо тоскливо было в этих «красивейших городах европейско-азиатской России» героям русской литературы — от Гоголя до Чехова, от Островского до Салтыкова-Щедрина, от Лескова до Помяловского, от Достоевского до Горького. Автор так увлекается всей этой казанской роскошью, что восхищается даже действующей там (как и во всей России) «вертикалью власти». Перечислив едва ли не всех губернских чинов (вплоть до уездного исправника), автор заключает: «Это костяк городской и губернской власти. Нетрудно заметить, что он чрезвычайно компактен. Главные должности принадлежат губернатору, что делает систему очень жесткой, но и исключает внутренние противоречия власти, возможные при нестыковках в действиях различных людей» (с. 71). Подобные рассуждения выдают в авторе настоящего гегельянца. Но если все действительно разумно, то чем тогда плох соцреалистический лозунг «Прекрасное — это наша жизнь»?

Столкнувшись впервые на страницах книги с этим патриотическим восторгом, я принял его за пародию. И в самом деле, человек так точно все понимает в культурной ситуации, так верно улавливает особенности личности Горького, столь далекой от верноподданнического «прекраснодушия» (не Бондаренко какой-нибудь!), и вдруг, описывая попытку самоубийства Горького в Казани и его мытарства, связанные с отлучением от церкви, Басинский замечает:

«Задействованы журналисты, доктора, земский смотритель, протоиереи, священники, профессор Духовной академии, монахи, а до этого еще и сторож-татарин, пристав, околоточный. Секретари, написавшие все эти бумаги.

До какой же степени ценилась единичная жизнь и душа человеческая в России в эпоху “свинцовых мерзостей жизни”! Насколько внимательной к единичной личности была эта Система. Да, громоздкая, да, грубоватая. Да, не учитывавшая, что только что отошедшего от шока молодого человека нельзя вести в церковь “на веревочке”. Но это была

Система, в которой каждый человек был ценен и за каждым наблюдало “государево око”.

Сегодня казанского самоубийцу отвезут в морг или в больницу, и никто в городе об этом не узнает.

Структуру имперской Системы простодушно разъяснил Пешкову городской Никифорыч, позвавший Алешу “в гости”: “Незримая нить — как бы паутинка — исходит из сердца Его Императорского Величества Государь-Императора Александра Третьего и прочая, — проходит она сквозь господ министров, сквозь его высокопревосходительство губернатора и все чины (понятно теперь — зачем Басинский их всех перечислял — вертикаль как-никак! — Е. Д.) вплоть до меня и даже до последнего солдата. Этой нитью все связано, все оплетено, незримой крепостью ее и держится на веки вечные государево царство. А — полячишки, жида и русские подкуплены хитрой английской королевой, стараются эту нить порвать, где можно, будто бы они — за народ!”» (с. 108–109).

Занятно, это *литературоведение от городского* — особый такой пропуск для публикации в «Молодой гвардии» или автор и в самом деле не видит, что Система потому и была столь громоздкой, столь «грубоватой» (еще со времен Ивана Грозного), что настроена она была не столько на эту вот единичность души человеческой, сколько на работу с «массами», что цена жизни в России всегда была ничтожной? Так что, к примеру, расстреливать тысячи человек по всей стране в ходе демонстраций этой «грубоватой Системе» было вполне с руки. Не знает разве автор, что восстановившее славу России Советское государство заботилось о «единичной жизни и душе человеческой» куда больше Российского? Известно ли ему, сколько журналистов было занято истреблением диссидентов, разных там «горьких»? А сколько докторов психиатрических клиник? Гулаговских смотрителей? Околоточных в отделах кадров? Приставов в спецотделах? А уж партийных протоиереев и не счесть! Так что прогресс, несомненно, был. Чем же так не нравится Басинскому советская власть? Тем, что не христианская была и не православная? Так ведь воссоединилась же советская забота о человеке с православными хоругвями — число околоточных выросло необычайно, и в церквах от них не протолкнуться. Что же теперь ему не нравится, что так сокрушается он о сегодняшней судьбе казанского самоубийцы?

Казалось бы, случай клинически чистый. Ан нет! В том-то и дело, что случай здесь непростой. Противоречия прямо-таки горьковские. И в самом деле, спустя несколько страниц после восторгов по поводу красоты Казани, чуткости Системы и душевности городских автор рассказывает об увлечении выжившего Пешкова толстовством. Очень

точно все понимает, очень верно описывает состояние и травмы начинающего Горького и так говорит о его письме Толстому: «Письмо поражает своей дремучей провинциальной наивностью. И в то же время трогает, ибо за этим письмом стоит не только он, а целая группа растерянных молодых людей, одуревших от уездной тоскливой и бессмысленной жизни, с жарой, холодом, завыванием вьюги в степи и однообразным свистом сусликов, беспробудным пьянством и бесконечными сплетнями — скуки, от которой хочется повеситься и которая способна сделать из людей грязных, завистливых и беспощадных циников. Вспомним горьковский рассказ “Скуки ради”, где именно от скуки, ради развлечения, работники станции доводят Арину до самоубийства» (с. 115). Не доглядел, значит, околоточный!

Басинский то концентрируется на мельчайших оттенках человеческих отношений и идей, то с легкостью отбрасывает действительно серьезные вопросы, сформулированные, к примеру, второстепенным писателем-эмигрантом Сургучевым: Горькому, «среднему в общему писателю, был дан успех, которого не знали при жизни своей ни Пушкин, ни Гоголь, ни Толстой, ни Достоевский. У него было все: и слава, и деньги, и женская лукавая любовь» (с. 102). Автор отказывается всерьез даже обсуждать подобные вопросы. Они кажутся ему «сомнительными» и поверхностными. А между тем ведь здесь сформулирована проблема, заботившая отнюдь не только Сургучева, но и Льва Толстого, и еще очень и очень многих. Дело, конечно, не в том, что, как утверждал Сургучев, Горький продал душу дьяволу, но, с другой стороны, Басинскому ли осуждать Сургучева? Он сам то вполне серьезно обсуждает отношения Горького с чертом, то вдруг утверждает, что Горькому потому не понравился рассказ Короленко «Сон Макара», что «душа этого молодого человека была не просто изувечена, но “отбита”, как бывают отбиты почки, печень, легкие» (с. 129), то вдруг безапелляционно заявляет: «Горький не был христианином и уж точно не был православным» (с. 97).

Что сие значит? А был ли христианином призывавший смерть на голову Толстого Иоанн Кронштадтский? А были ли православными члены Союза русского народа? Что это вообще за тема такая? Горький был прежде всего, как показывает сам Басинский, художником. Он был художником эпохи модерна и разлома. Он был человеком декаданса. А еще — он был человеком Просвещения. Того самого, которого Россия так и не пережила — по сей день. И именно здесь проходит линия главного разлома. Между горьковским Человеком и окружавшей его страной и населяющими ее людьми. И именно отсюда — горьковский гуманизм. И отсюда же — возникающее временами непонимание автором своего персонажа: Басинский иногда

вдруг превращается из современно мыслящего и глубоко понимающего читателя всегда «несвоевременных» в России мыслей Горького, почти его единомышленника, в религиозно-патриотического резонера, ссылающегося на «неожиданные» мысли Кожинова. И этот кризис авторской идентичности, двойственность его позиции всего более смущают. Можно ли быть одновременно христианином и человеком Просвещения? Жизнь куда сложнее подобных головных вопросов. Вот, например, Басинский отлично видит противоречия Горького, его постоянное раздвоение. Но ведь и сам автор, удивительно точно понимающий Горького, вдруг умиляется дореволюционной российской действительности и «прелестям кнута». Да что там — история столетней давности: сегодняшнее чтение Горького Басинским является интересным документом, фиксирующим «раздвоенное» состояние умов в современной России.

А рядом с этим — поразительный по точности анализ горьковского нищезанятия и его человекобожеской метафизики, уходящий к перенесенным им в детстве и юности травмам и обидам, удивительно верный вывод о реванше за все — в биографии, и о проигрыше — в духовной судьбе, блестящий, хотя — увы! — и по необходимости слишком краткий анализ горьковских текстов (в особенности автобиографической трилогии, ранних рассказов, «Матери» и пьесы «На дне»).

То Басинский по-писательски тонко понимает глубокие, скрытые вещи, то вдруг совершенно ясные вещи вызывают его недоумение. Так, вдруг он отказывается понимать горьковское «странное понимание христианства как иудейской религии» (с. 177). Но, с одной стороны, все антихристианские (не путать с атеистическими!) идеологии XX в. (начиная с Гитлера и заканчивая современным арабофашизмом) были антисемитскими и исходили именно из иудейской природы христианства. С другой стороны, сегодняшний христианский фундаментализм (в особенности американский) основан на откровенной юдофилии, а лозунг «защиты иудеохристианской цивилизации» стал едва ли не государственной политикой США. Чего же тут удивляться? Вообще, на евреях автора зациклило. Так, анализируя очерк Горького «Погром», он с гордостью констатирует, что, хотя погромы устраивали несознательные люмпены, «прекратила еврейский погром в Нижнем казачья сотня. Причем довольно быстро» (с. 180). Настолько, видать, быстро, что читатель и вспомнить не успел, что царь лично благословил Союз русского народа и распорядился печатать погромные черносотенные призывы в правительственных типографиях, предоставив в распоряжение этой организации миллионы. Может быть, потому что Горький об этом знал, он не хотел замечать интернационалистских заслуг казачьей сотни? Оказывается, нет.

Это оттого, что «ненавистью к русской империи отравлено все его творчество» (с. 181).

Сам автор, в отличие от Горького, не скрывает своей любви к этой самой империи. Оказывается, «вся российская жизнь перед революцией свидетельствовала вовсе не об угасании жизненной энергии великой империи, но об ее *избыточности*. Именно эта избыточность, как ни парадоксально, и явилась причиной революции» (с. 68). Такую вот «неожиданную мысль в приватной беседе высказал автору» Вадим Кожинов, который утверждал, что так все в России процветало накануне революции, что страна погибла, «не справившись с избытком собственной мощи» (с. 69). Идея эта настолько же «неожиданна», насколько и не нова. С ней носилась эмиграция первой волны, не устававшая повторять слова о «небывалом расцвете», оборвавшемся из-за большевиков в plombированном вагоне и инородцев (что практически одно и то же). Станислав Говорухин показывал нам эту «Россию, которую мы потеряли», убеждая что вот «избыточность» была, а черносотенства, погромов, кровавых демонстраций и зверских расправ, провокаторства, полицейского государства с практически поголовно безграмотным населением, жившим в чудовищной нищете, с уровнем смертности, как в сегодняшней Африке, — он, сколько ни приглядывался, никак не заметил. Странно даже объяснять автору, демонстрирующему хорошее знание и понимание Горького и его эпохи, что дело не во МХТ, Шаляпине и балетах Дягилева, не в экзальтированных провинциальных философах («В культуре той эпохи была какая-то чудовищная избыточность. Все ярко, нереально, преувеличенно!» — с. 137), а в политической культуре, которую как будто вдруг отказывается замечать Басинский. Вот Австро-Венгерская империя погибла тогда же — тоже, видать, от культурной и экономической «избыточности» (Фрейд, Климт, Кокошка, Малер, Шёнберг, Кафка — недостаточно «преувеличенно»?). А Османская империя? А революция в Германии? Все в те же годы. Неужели тоже от *избыточности*? Быть такого не может — не могли они погибнуть от одного и того же: уж Кожинов-то знал, что то, что немцу хорошо, то русскому — карачун. А говоря серьезно, стоит ли, в самом деле, пробавляться фантазиями человека, мыслившего вовсе не «неожиданно», но в категориях племенного сознания?

Надо, впрочем, признать, что подобных мест в книге не очень много: автор пытается все же удерживаться от морализаторства. Начни он читать мораль Горькому — книга не смогла бы состояться: Горький — антитеза этому почвенническому придыханию, этим верноподданническим спазмам. Напротив, автор с некоторой замороженностью смотрит на нищестанство Горького. И сдается мне, что за всем этим религиозно-почвенническим резонансом скрывается настоящая травма автора.

Горький — персонаж изумительный. Это сам себя сделавший человек (и *как* состоявшийся!). Пришедший из провинции и закончивший тоже своего рода «московским пленником». Так что близок автору Горький тем, что переносит он на него свои собственные травмы и любит себя им, и сокрушается (не туда вот его занесло — «трагедия социального идеализма»!). Вот тут автор его подправит — покажет ему «Россию, которую мы потеряли». Ему про эту Россию Кожин с Говорухиным понарасказывали, а Горький, исходивший ее вдоль и поперек, видел, да не заметил... Тут впору не Ницше читать, а Фрейда...

Известно, однако, что успеха биограф добивается только тогда, когда герой биографии духовно, человечески, идеологически близок ему. С одной стороны, бессознательной, — Горький Басинскому близок; с другой, сознательной, — далек. Автор то идет за героем — и тогда делает настоящие открытия, то вдруг вспоминает, что он — православный, любит «Россию, которую мы потеряли», ненавидит коммунистов, в восторге от Системы и негоже ему плестись за заблудшим Горьким. И начинается «духовная критика» — заодно с Горьким осуждается, конечно, и либеральная интеллигенция, загубившая Россию (ничуть она не лучше горьковских люмпенов). Оказывается (что «открыл», кстати, не Басинский, а публицист правого толка М. Меньшиков), Горький «не выходец из народа, и голос его не народный». Никто не понял, а Меньшиков понял. Почему? «Причина, как представляется, была в том, что Меньшиков, в отличие от Короленко, Михайловского и даже Льва Толстого, был глубоко *верующий и православный человек*. Это и решило все» (с. 189). Серьезный, конечно, аргумент.

Да вот только неясно, как автор (только что продемонстрировавший прекрасное понимание народничества как идеологии, по сути, моделирования образа народа, не имевшего к реальности абсолютно никакого отношения) вдруг принимает на веру слова о «народном голосе» только потому, что исходят они от православного. Народный — это какой? Что это за «народ» такой? Кем выстроенный? Это такой чистый и благообразный, как на полотнах Венецианова? Как Платон Каратаев? Тогда, конечно, — ненародный. Но ведь известно Басинскому, что образ этот был Горькому глубоко ненавистен потому, что видел он в нем одну ложь, видел он в этом благообразном русском мужике «подлеца», «пьяницу», «лентяя», «раба земли», страшно сказать — «жесточкого зверя», неспособного подняться над «свинцовыми мерзостями русской жизни», не то что создать культуру, но даже оценить возвышенный благородный порыв тех, кто готов был отдать за него жизнь. Не в этом ли трагедия народничества?

В более широком плане вопрос состоит в том, можно ли смешивать роль биографа с ролью моралиста и велика ли честь — спустя сто лет

поучать неразумного Горького? Басинский, подобно самому Горькому, хочет усидеть на двух стульях: и биографа, и резонера. Но биография — жанр суровый: роли в ней не выбирают. Биограф — это вообще не роль, но миссия по отношению к тому, о ком пишешь.

Биография — жанр суровый еще и потому, что диктует сюжет и пропорции. Это не монография и не роман, где автор сам себе хозяин. И в самом деле, можно ли посвятить 60 (!!!) страниц отношениям Горького с Леонидом Андреевым (очень интересно и глубоко проанализированным в книге!) и столько же — всему (!!!) периоду после возвращения Горького в Советский Союз? О последней, «советской» части книги сказать следует особо. Это был самый сложный период горьковской биографии. Заложенное им в эти годы определило характер развития советской культуры на десятилетия вперед — и институционально, и эстетически. В то же время это был, пожалуй, самый мрачный, закатный период жизни и творчества Горького, но одновременно — именно в это время ему во многом удалось реализовать свои недюжинные «организаторские способности», осуществить грандиозные культурные проекты (например, «ЖЗЛ», в которой вышла рецензируемая книга), стать, по словам самого Басинского, «центральной личностью своей эпохи» (с. 394). Горький в конце концов сам превратился в главную культурную институцию советской эпохи, а вся советская литература — в своего рода горьковское предприятие.

Ничего этого в книге нет. Многие горьковские издания и проекты, целые предприятия, в которых были задействованы сотни писателей и ученых и которые оказали огромное влияние не только на литературу, но на весь культурно-идеологический ландшафт 1930-х гг., даже не упомянуты или просто упомянуты в перечне. Автор подменил весь этот сложный комплекс проблем вопросом о том, был ли Горький очередной «жертвой» Сталина. Вердикт: не был. «Скорее, он сам был жертвой логики своей судьбы, своего богоборческого разума» (с. 379). Иначе говоря, за что боролись, на то и напоролись. Что за странное объяснение такое? Мне показалось, что автор к концу книги просто устал от своего героя (как сам Горький устал в конце жизни от своего Климса Самгина), потеряв к нему интерес (может быть, оттого, что речь идет о столь ненавистной Басинскому советской эпохе?). Финал оказался скомканным, разговор свелся к детективным разборкам — убил ли Сталин Горького и виновен ли Крючков в гибели Максима Пешкова. Детектив выстроен вполне в стиле конспирологических опусов Авторханова об убийстве Сталина.

То же касается и 1920-х гг. Целое десятилетие, когда Горький, живя за рубежом, поддерживал связи с десятками лучших писателей в России, вел поистине огромную переписку, оказывал поддержку

различным литературным группам, да и сам был важным фактором внутрисоветского литературного процесса, во многом, увы, сведено к перипетиям жизни в Сорренто и эмигрантским склокам.

Справедливости ради надо сказать, что автор как-то пытается поставить общие вопросы советской культуры — совсем игнорировать этот «фон», говоря о Горьком, все же нельзя. Но сдаётся, что вся авторская энергия и весь интерес исчерпались досоветским Горьким. Куда-то девались и острота зрения, и точность анализа, и даже — странно сказать — владение материалом. Судя по неточным формулировкам и невнятным поставленным вопросам, автор не вполне ориентируется в ранней советской литературной культуре. На протяжении двух страниц (с. 381–382) на читателя обрушивается каскад странных (если не сказать — нелепых) вопросов, едва ли не каждый из них неточен: автору «понятно», почему «Сталин поддерживал (впрочем, порой и нещадно критиковал) жившего в Кремле пролетарского поэта Демьяна Бедного с настоящей фамилией Придворов». Здесь что ни слово — то неточность. Читателю биографии Горького не обязательно знать историю глубокой личной неприязни между Бедным и Сталиным, историю того, как унижал и с каким садизмом издевался Сталин над этим вполне бездарным поэтом, возомнившим о себе слишком много и не успевшим вовремя в очередной раз перестроиться. Но тот, кто читал издевательские письма Сталина Бедному, не напишет о «поддержке» или о том, что Сталин «порой» его критиковал (кстати, к тому времени Бедного из Кремля выдворили). Почему, удивляется Басинский, вторым после Горького по значению писателем стал Алексей Толстой, бывший яркий белогвардейский журналист? Не ясно Басинскому — почему? Да потому же, почему Сталин сделал генеральным прокурором СССР громившего ленинских соратников в 1936–1938 гг. Вышинского, который летом 1917 г. подписал ордер на арест Ленина. Объяснять подобные вещи излишне. Ставить подобные вопросы — нелепо.

Почему убили Хармса, но не тронули Пастернака? — не понимает автор. Почему был запрещен Платонов, а не запрещен «Тихий Дон»? Автор хочет сказать, что дело вовсе не в том, что Сталин «окормлял наиболее крупных писателей» (с. 382). Но нужно ли объяснять, что речь идет не о «наиболее крупных писателях» по «гамбургскому счёту», а о крупных писателях в сталинской табели о рангах? Ну и где там были Хармс, Платонов, крестьянские поэты? Другое дело — Шолохов. Почему его не запретили? Рекомендую прочитать книгу Зеева Бар-Селлы «Литературный котлован. Проект “Писатель Шолохов”» (М., 2005).

О Шолохове надо сказать особо. Не раз встречается это имя на страницах книги — и по странному стечению обстоятельств — рядом

с именем Андрея Платонова (с. 79, 382). Зная и разделяя трепетное отношение Басинского к Платонову, который представляется мне не только крупнейшим русским прозаиком XX в., но и человеком кристальной честности, зная, как высоко ценит сам Басинский эту глубокую порядочность и честность в Горьком, я не могу понять, как может он писать о Шолохове, человеке, который почти наверняка эксплуатировал Платонова в годы войны, пользуясь его беззащитностью, почти наверняка был проходимцем, не писавшим «Тихого Дона», и совершенно точно — не только не создал ни одного талантливое произведения после исчерпания чужого романа, но и был погромщиком и другом самых низких погромщиков от Софронова до Бубеннова, участвовавшим лично в антисемитской травле, ставить его рядом с Платоновым? Простая брезгливость не позволила бы мне поставить рядом эти имена, а уж цитировать провинциальные фантазии Кожина (почему не дали Нобелевскую премию Алексею Толстому или Твардовскому!?) я бы просто постеснялся. Стоит ли объяснять, почему такой человек, как Кожин, сомневался в объективности шведских экспертов и почему он делал исключение для Шолохова?

«Сталин как человеческий тип не мог нравиться Горькому» (с. 387), — справедливо замечает Басинский. Вот и Шолохов именно как человеческий тип не может нравиться человеку, которому нравятся Горький и Платонов. Здесь есть какой-то нравственный дефект. Как есть он в той откровенной неприязни, с какой пишет Басинский о Бунине только потому, что тот повел себя, как полагает автор, непорядочно по отношению к Горькому (надо сказать, что скрытые мотивы этих сложных человеческих и творческих отношений Басинский показал очень точно). И уж совсем покорила меня та нескрываемая ненависть, с какой пишет автор о Зиновьеве. Что там говорить — судя по воспоминаниям, это был во всех отношениях мерзкий персонаж, но можно ли *так* воспроизводить рассказ о последних часах жизни человека (любого человека!), который, боясь смерти, падал на колени и умолял позвонить товарищу Сталину (который как личность — намного ли выше Зиновьева?). Сталин обожал слушать этот рассказ Паукера — он смеялся над ним до слез. Но говорить с издевкой о предсмертной агонии пусть и самого последнего человека может быть достойно Паукера и Сталина, но уж точно не пристало православному.

Об отношении Горького к сталинской политике стоит сказать особо. Позиция автора здесь бескомпромиссна: «Восторженное отношение *русского писателя* к тому, что его соотечественники миллионами умирают с голоду на Украине, на Дону, на Кавказе, в этих хлебных житницах, ради того, чтобы Москва могла заплатить

Германии проценты по кредитам (так объясняет массовое изъятие у крестьян хлеба в конце 1920-х годов Юрий Жуков), не может быть оправдано ничем, и здесь безусловно правы и Бунин, и Леонид Андреев, и впоследствии Солженицын» (с. 310). Ссылка на немецкие кредиты должна заменить упоминание об индустриализации (ни слова об этом у Басинского!). Вся филиппика — чистое передергивание, которое не должен позволять себе добросовестный биограф, если он сохраняет если не уважение, то по крайней мере честность по отношению к своему персонажу и читателю. Басинский отлично знает ответы на вопросы, поскольку прекрасно понимает позицию Горького. Но тут он как бы забывает обо всем, что сказал верного о взглядах Горького, для того чтобы продемонстрировать патристическое рвение.

Можно ли осуждать сегодня Горького за поддержку коллективизации? Ведь, по сути, Горький не изменил взглядам, высказанным в «Несвоевременных мыслях», если видеть эти взгляды во всей полноте, а не плоско антикоммунистически. Горький критиковал большевиков вовсе не за их идеологию, столь ненавистную Бунину, Андрееву и Солженицыну, к авторитету которых прибегает Басинский, а за то, что они развязали звериные инстинкты русского крестьянства, которое и залило страну кровью и вот-вот затопчет хрупкие ростки пролетарской сознательности. Басинский это знает. Что же удивительного в том, что в коллективизации, служащей индустриализации страны (а не в «немецких кредитах», которые невесть откуда всплыли у Басинского), он видел спасение? То, что в коллективизации видят сегодня — раскрестьянивание — для Горького было благом. Именно *об этом* он и писал, а не радовался смерти миллионов соотечественников. Любопытно, что Басинский не обратился к классическому примеру — книге «Беломорско-Балтийский канал им. Сталина: История строительства» (М., 1934). Там это видно куда отчетливее: Горький восторгается политикой, которая кажется ему верной, и намеренно не замечает того, что было видно всякому. Это устройство горьковского глаза отпечаталось на годы в соцреалистической эстетике. Но — автору ли, исследовавшему влияние Ницше на Горького, не знать, что подходить с моралью и политикой к эстетике бесполезно, что приписывать Горькому смертные грехи — дело пустейшее, а главное — нечестное?

Все это верно и для описания революционной эпохи: всякий раз Басинский переживает по части плоского антикоммунизма. Пытаясь доказать, что кто угодно «виновен» в революции — только не «народ», автор вновь остается глух к горьковской позиции. Его спор с Горьким, его анализ поэмы Блока «Двенадцать» отдает именно сектантством,

столь ненавистной ему в других партийностью. Позиция Горького, да и Блока была куда глубже, куда менее зашорена. Согласно же Басинскому, в своей поэме Блок хочет показать, какая власть «скрепит» Россию — «беспощадная. Построенная на бесправии личности» (с. 361). Надо полагать, что власть, которая привела Россию к катастрофе, была либеральной и основанной на правах личности... Оставим эти откровения на совести биографа.

Здесь мы упираемся в основную проблему: с точки зрения Басинского, «трагедия Горького есть философское и жизненное крушение внехристианского гуманизма» (с. 311). В известном (и, как должен понимать Басинский, ключевом для Горького) смысле гуманизм и христианство — противоположности. Речь идет не о «человеколюбии» вовсе, но именно о философской доктрине. Проследив ее развитие в России, Басинский пришел к заключению: развитие гуманизма как в Европе, так и в России в конечном итоге вело к отказу от христианства. Подобный взгляд на европейское Просвещение, конечно, поверхностен, не говоря уже о том, что с XVIII в. Европа и Россия пережили столько потрясений и такие глубокие трансформации, что оперировать сегодня столь старыми категориями без всякой поправки на исторический опыт просто нелепо.

Просвещение было отрицанием не столько христианства как системы нравственных ценностей, сколько религии как таковой, церкви как института духовного и интеллектуального порабощения, средневекового мироощущения и мироустройства, феодальной системы социальных отношений и ценностей. Но *христианство больше Средневековья*, а православно-патриотическая схема Басинского, в которую никак не хочет укладываться Горький, — как раз и есть продукт консервативной утопии, которая потому всегда столь сильна была в России, что Россия не пережила ни Возрождения, ни Реформации, ни Просвещения (которое Басинский, кажется, просто путает с введением Петром I европейского этикета и сбиванием бород — с. 311). Этот спор напомнил мне очень точно описанный Басинским спор между Горьким и Лениным. Для автора Ленин — сектант, хотя и умница и интеллигент (не в пример Сталину). Горький же — еретик. Так вот и здесь: позиция Басинского — позиция секты. Потому он и Системой восхищается, и скорбит о выдуманной «России, которую мы потеряли», и Кожинова цитирует, и горьковской юдофилии не понимает. Но в остальном, прямо как Ленин, — интеллигент и умница. Стоит ли объяснять, что «еретиком» был сам Христос, что христианство — не «Система», не погромная полицейская средневековая держава, «которую мы потеряли», не национальное чванство и не православное (именно сектантское!) высокомерие, которые то тут, то там пробиваются в книге, но — моральное

величие Нагорной проповеди, человеколюбие, братство людей, интеллектуальная свобода и нравственное совершенствование. Глубокий духовный поиск «блудных сынов» куда ближе христианскому идеалу, чем церковное резонерство прозелитов.

Как легко заметит читатель, меня многое разделяет с автором, но в одном Басинский мне близок: так же, как и он, я очень люблю Горького, считаю его, вслед за автором, человеком «немыслимо сложной и запутанной биографии, невероятно интересных творческих поисков и до сих пор не понятой духовной судьбы» (с. 438). Оттого, что мне дорог Горький, столь придирчиво читал я эту книгу. Читал с неослабным интересом. Злился (за что прошу прощения у читателя), но все же больше радовался всему тому точному, что сумел найти у Горького Басинский. Книга получилась неровной — угловатой, как сам ее персонаж, пестрой, как его жизнь, противоречивой, а в чем-то и нравственно вызывающей, как многое в философии, творчестве и жизни самого Горького. И все же это лучшая книга о Горьком за последние годы.

